ГОЛОСА ИЗ БЛОКАДЫ

Танец назывался «Карусель». Дети — в ярких красочных костюмах, тапочках, платьях, длинных до простыни, держались за шест с разноцветными лентами и кружились вокруг него. Танец кончался, я звучали песни — «Мой Лизочка», «44 веселых чижа»... «Чижик» старались выглядеть веселыми, хотя шла война. А потом дети пели о небывалой стране, где «покрыты тротуары все кирпичами и обсажены и посыпаны бульвары чистым сахарным песком». Говорят, что, когда эту песню услышала представительница города, она возмутилась. Обязательным выбором репертуара для голодных детей». Не можно было понять. Но можно понять и репертуар пионеров. Они сознательно выбирали мирные, уже забытые песни, чтобы дети и зрители — защитники города хоть ненадолго забыли о войне.

Среди участников ансамбля была девятилетняя Танечка Ионас. Ее вместе с другими работниками была вручена высокая награда — медаль «За оборону Ленинграда». Сегодня, в канун годовщины полного снятия блокады Ленинграда артистка Ленинградского Театра Юного Зрителя Татьяна Дмитриевна Ионас рассказывает о военном детстве.

ИНОГДА, когда начинаешь вспоминать, прерываешь себя — так страшно становится и столько тратится эмоций. Самые сильные и глубокие впечатления, из которых я черпала потом свои артистические эмоции долгие годы, остались для меня из блокады. И страх, и радость, и счастье общения в единении людского, мужества и даже ощущение праздника, как это ни покажется странным. Праздник — работа во дворце и наш ансамбль.

Моя семья была большой — мама, папа, два дедушки, бабушка, прабабушка. Жили мы в начале войны на Рыночной, а в конце войны на Гончарской. Это одна улица. Ее переименовали в дни войны. Тогда в честь побед переименовывались многие улицы. Перед домом с нами Летний сад. Я до войны во дворе не гуляла, ходила в начальную группу. Тогда такая мода была, 6—7 родителей собирались, набирались группа, и мы с Ирмой Карловной, немкой, ходили в сад, брали с собой бутерброды, гуляли и все время по-немецки говорили. Я до войны иногда гуляла группа, которая на английском говорила или на французском. В 6 лет я в полна немецкого разговорила свободно, мы разучивали стихи, пели «О, Танне-баумы немцы в моем воображении какими-то сказочными» были, как Санта-Клаус. А когда началась война, и в первую неделю у нас еще оставался крепкий довоенный преимущественно, мы однажды услышали немецкую речь, которую я — прекрасно знающая язык — не поняла. Это была речь Гитлера... Истошный, захлебывающийся крик, жуткая, лающая речь...

Потом, очень скоро, был страшный момент. Мы шли с мамой по набережной Невы, по ней дерзкая тогда еще, я и вдруг летит самолет. Низко-низко... Это было в районе Гагаринской улицы, теперь это улица Фурманова. Где она выходит на Неву, вот там мы шли. И увидели самолет. Он стал снижаться, и все радостно стали кричать: «Самолет, наш самолет...» Было такое ощущение, что нас обогревают. И вдруг этот «наш» снизился до такой страшной близости, что стало видно лицо летчика — черные огромные очки, улыбающееся лицо. И сразу затрещала пулеметная очередь. Люди вдруг стали по-разному. Я, мама и бабушка шли в параднюю. Когда мы вышли на улицу, несколько человек уже и пожаром — убиты. Потом долго представление о фашистах у меня связывалось с этим и еще одним летчиком, о котором рассказывал приехавший в командировку с фронта позднее осенью отец. Наш Сенной рынок был сбит немецкий самолет умирающие летчики лежали рядом с самолетом, один из них молил дать ему воды. Отец подошел к нему, взял за руку только снег и по-немецки сказал: «Выпей». Тот спросил: «Немцы?». Папа ответил (он владел немецким языком), нет, русский. Тогда летчик отбросил его руку и сказал: «Дрянь это пролетарский ком снега».

Такими я их себе в тот момент представила: фанатичными, остервенелыми.

А потом был первый налет. Дома я оставалась с бабушкой. В небе что-то загудело, все задрожало, и мы с ней оказались в сгрошенными от окна, комната была метров 27, через все эти метры, через всю комнату к печке. А нам горили, что нужно обнимать печку. Я знаю, что люди обнимали печку. На углу Пестеля и Моховой был большой шестиэтажный дом, где хозяйственный магазин, его разрушило от 6-го до 1-го этажа. И когда пришли люди после этой бомбежки, они увидели женщину, уже совершенно седую, на 3-м этаже, обнимающую печку. Ее снимала пожарная команда. Говорили, что дом так строится, что все будем учиться. Но через 10 дней в соседний дом попала бомба, бомбоубежище затопило, и больше идти было некуда. А для меня самым страшным было бездействие. Может быть, потому, что в действенный ребенком была Спасение было в чтении. Я рано научилась читать, читала запоем при коптилке. Мама, бабушка, несколько раз в день, делала свои баланды и отчеты. Мы сидели в перчатках, замотанные во все платки, в распоясанных пальто, сидели с другой стороны и читали, читала, читала — Гоголя, Пушкина, Диккенса. Для мамы баланс и документы были святое, она свою бухгалтерию любила и, что бы ни случилось, шла в свое бухгалтерия, где-то обязательно должна была отыскать. А то, что она кричала. Ну, иногда где-то щелчку найдешь, а сил не было, поэтому прицепишь эту щелочку за веревку — носила к веревку с собой — и тащишь по снегу.

Иногда в ходила за водой. И на улице Пестеля видела страшную картину. Там проходила водопроводная труба, вода была, но на морозе она замерзала, и уже образовалась ледяная горка, и люди пытались подняться, но многие скользили на животе, не успев наполнить чайник, ведро, а потом их обливало этой ледяной водой и они в эту горку ледяную вмерзали, вмерзали...

В нашей квартире появились двое, в общем-то, чужие людей — муж и жена. Их оставшихся без жилья, без карточек, мама пригласила. Они тоже, как и мы, бродили по нашей квартире, жили они в моей детской, они там копошились, а потом стало тихо. Он умер, а она еще бродила, а потом еще тише стало, поэтому что я она слегла, и никто уже в эту комнату не заходил. Мы сами лежали. Началось умирание, все лежали. И была такая страшная тишина, только бабушка стонала в бесконечстве. Наступило совершенное безразличие. Один мой дедушка умер, а второй дедушка, которого я очень любила, он такой был хороший, добрый, образованный человек, он схватил однажды кусочек хлеба, какие его принесла и передо мной положила, и стал его быстро-быстро, прямо на глазах у нас есть. Мама стала кричать: «Ты что его выгонит — она улицу, на улицу». Но он уже ничего не понимал. Вот в этот момент я подумала: «какой ужас, он был такой образованный, такой мудрый, интересный. Он запрашал: «Галечка (моя мама), простишь...» я не хочу это говорить, это ужасно, потому что я до сих пор не могу себе простить, у меня тогда, когда он выхватил этот кусок, осадок «какой-то остался. И чем больше я это так стыдно, так стыдно... Он умер через несколько месяцев. А мы с ребятами во двор ходили, в общем, в общем, в подворотне, это весной было, мама меня позвала: «Дедушка умер». А я услышала и побежала снова играть. И мое всю жизнь стыдно за это, всю жизнь, и простить себе не могу...

Мы выжили зимой только потому, что папа вдруг неожиданно приехал в тот самый момент, когда мы умирали. Дедушка, няня, двое этих людей... И мертвые, и живые — все лежали, ходила только мама. Папа мой воевал на Ленинградском фронте и неожиданно приехал за боеприпасами в Ленинград. Мороз был жуткий, ледяная квартира и мертвая — в полном смысле слова — тишина... И вдруг все наполнилось шумом. Потому что папа приехал на машине он один. С ним было несколько человек. Стали шуметь, стали погами шуметь, наполнилось все шумом каким-то, полным жизнью, двери застучали... Папа — он привез 2 буханки хлеба, гречу... Но я уже в каком-то отупении была в каком-то отупении — даже радости не чувствовалась

Вообще помню такое чувство — сжаться в комок И продолжать свое — не прерывать — не прерывать и неовжить — в одному — в всем вмерзнуть. Подлинное — это бы вместе невозможно было всем вместе.

А в апреле я впервые испытала радость. Я услышала, что Дворец пионеров приглашает своих бывших учеников прийти в ансамбль песни и пляски. А в перед войной там занималась. И счастью моему не было границ. Мама меня закутала в платок, я накинула шубенку, было холодно, и — во дворец по Фонтанке. Пришла, меня спросили: «Девочка, что ты можешь?». «Я могу все, что хотите...». Педагоги такие страшные, заверчуще в глаза. Я поклонилась, поклонились. Я сказала: «Я очень хочу танцевать. Я могу танцевать и пять, и лучше всего мне бы танцевать». И стала почему-то сразу прямо перед учительницей, замечательной моей любимой Верой Абрамовой, последовательницей Айседоры Дункан.

Детей принимали она в Мариинскую Васильевна Кастальская, которая когда-то была учителей Станиславского и даже показывала нам потом фотографию, когда она в Сенной пятнице, играя Молоко. Они преподавали в раньше, до войны, но тут они появились в этой блокаде как какой-то остов неколебимый петербургский, со своей речью, со своими манерами и бесконечной требовательностью. Они, несмотря ни на что, хотели от нас полной отдачи. Роза Абрамовна жила одна, а у Кастальской была дочка, у которой было двое маленьких детей, а Кастальская все ни, конечно, отдавала, выглядела она поэтому совершенно изможденной.

Итак, я стала прыгать. А сил у меня никаких не было. Прыгать надо было не на пол, от пола, а прыгалось в пол, потому что тянуло к земле — силенок было мало. Роза Абрамовна сказала: «Да-а-а, хоть ты и худа, но прыгаешь как полено...».

Она была очень строгая, подтянутая, причесанная неслыханно на то время, с прямой спиной. В телогрейке, но никогда не в платке, седая, высокая, и всегда выпрямленная, с гордо-гордо-гордо-гордо, не согнувшаяся. Я занималась у нее четыре года. Иногда комендантшы говорили: «Ну, могла... была бомбежка...». «Какая бомбежка? У нас репетиция». Но говорили мне: «Ты — дура. Все стараются прийти, чтобы ни один танец не сорвался. А танцевали вдвоем, вчетвером...

По Литейному я знала номера всех домов, потому что во время бомбежек мне много заплавозывались. Я говорила: «Пожалуйста, дяденька, пропустите, я живу в доме номер 42, меня мама ждет». Я сидела в мощенной квартире, лежащей на трупе бабушки. Она пыталась не согреть, окнавить... Мы все не могли, она стонала, была бережно к ней относиться. Она очень хорошо танцевала — так старательно, бледная, как фарфоровая. Она танцевала «Танец курицы с цыплятами» на музыку Мусоргского. Она так отдавала своих цыплят, как хивала крыльями, и все время на ее лице лежала какая-то печать необыкновенного трагизма. Это двенадцатилетняя девочка — и в книге написала: «Моей дорогой, самой любимой ученице, которая была ощущать, как требность в искусстве, быть нужной людям в то далекие блокадные годы. Пусть себя вспоминает такая великая требовательность к себе, как требовательна к тебе твой педагог Роза Абрамовна».

В 1943 году нас на один месяц вывезли в Хепозеро. Это было невероятное счастье. Вот до сих пор помню, как музыку, это слово — Хепозеро, я вспоминаю, как сидела на сосновом кусочке хлеба — «чтобы не достаелось фрицам», говорила Нина: «Ешь, ешь, мы с тобой на Гитлера. Когда начали падать бомбы, она побледнела и стала просить шоферов: «Быстрее, пожалуйста, быстрее». И мы только проскочили этот деревянный мостик, вдруг сзади — бомба... Мостик этот вместе с бомбой — вверх — и столб пламени. Мария Васильевна перекрестилась.

Я шла и своими руками давала Гансу кусочек хлеба... Он гладил меня по голове и благодарил бабушку.

Записала
Л. ТИТОВА

«УЛЫБАЙТЕСЬ ДУШЕЙ»